

Детсад на пустыре начали строить в конце восьмидесятых, да так и не достроили, поскольку страна нашла себе другие занятия. С тех пор небо над ним было втиснуто в раму из ригелей, а ближнее пространство оккупировали перекрытия, намертво прижатые к земле собственной ненужностью. Metallурги, возвращаясь с работы, рассаживались на их шершавых слоновьих спинах, чтоб выпить водки, купленной в складчину. Из цокольного этажа выползали бомжи и терпеливо ждали, пока бутылка прекратит быть источником оптимизма и сделается стеклотарой.

Дневная смена закончилась часа три назад, и потому сейчас на плитках сидел один-единственный бомж, засушенный временем и невзгодами до спичечной ломкости. Свежего в нем было немного: ссадины, подернутые розовой, еще не успевшей почернеть, коростой. Центром его лица был спелый, изжелта-багровый фурункул с белой вершиной; глаза скрывались где-то на периферии, в проволочной щетине и складках морщин. Слышь, земляк, окликнул он Кравцова, купи ножик, да ты хоть погляди сперва, земляк. Какой еще ножик, спросил Кравцов. Кино про нидзю видал? вот такой. Не пизди, укоризненно сказал Кравцов. Бомж забожился, черкнув по горлу грязным, переломленным ногтем: вот бля буду, щас сам увидишь. Он ссыпался с плит, нырнул в амбазуру цоколя и тут же вылез назад с продолговатым газетным свертком в руках: на, гляди. В газете обнаружился слегка изогнутый, тронутый бурой ржавчиной клинок с круглой гардой и массивной рукоятью. Два стольника, объявил бомж. И куда я с ним, спросил Кравцов не столько бомжа, сколько себя. Стольник, взмолился бомж, собрав рот в куриную гузку, земляк, да хули ты, в натуре, как не родной. Хер с тобой, стольник так стольник, согласился Кравцов, сам не зная, зачем, и спросил: а ты-то такое кино видал? Бомж, оскалив останки коричневых зубов, распустил рот в улыбку: я, зёма, много чё видал. Заворачивая попку в газету, Кравцов неловко зацепил острие большим пальцем. Тупое железо рвануло кожу, и он сунул палец в рот, ощутив языком лоскут отслоившейся плоти и металлический вкус крови. А ты газетку прилепи, посоветовал бомж. Столбняка мне только не хватало, ответил Кравцов. Он двинулся домой, держа порезанную руку на отлете. Винные капли крови редко и тяжело падали на землю и теряли свое естество среди частиц дорожной грязи. Дома из кухонной двери высунулась Маринка, подруга жены: а вот и Ваня, садись с нами кофе пить. Внутри ее голоса жила влажная, обволакивающая ласка. Да мне бы палец перевязать, сказал Кравцов, порезался я. Маринка настойчиво завладела его рукой: я же, как-никак, врач. Все не по-людски, скривилась жена, а это что за металлолом? Объясняться не хотелось, и Кравцов сказал первое попавшееся: на улице нашел. Жена скривилась снова: выбрось, своего хлама девать некуда. Маринка, закончив перевязку, подняла голову: да ты чё? его почистить да на стенку, прикинь, стильно будет, у Ванечки вкус есть. Может, ты своего ненаглядного к себе заберешь, спросила жена, бери, недорого отдам. Маринка продолжила, будто и не слышала: Андрюшка Кабанов, одноклассник мой, на таких вещах вообще поехал, – голос ее увлажнился еще больше, глаза, расставшись с Кравцовым, смотрели куда-то внутрь, – ему бы показать, он историк, он разбирается, дать телефон? Дай на всякий случай, сказал Кравцов.

По телефону он позвонил дней через пять, большей частью оттого, что оставаться дома было невозможно. Кабанов оказался тождествен своей фамилии: шесть пудов тренированного мяса, но неуютные глаза, пойманные в сетку красных, воспаленных капилляров, смотрели остро и испытующе. Бегло тронув

клинок взглядом, он заключил: типичный вакидзаси – малый меч, оправка стандартная, времен Второй мировой, вообще-то офицерскому и сержантскому корпусу полагались большие мечи, но поди попрыгай по окопам с метровой прибудой на поясе, поэтому кое-кто предпочитал нетабельное оружие в табельной оправе, благо, командование не возражало. Видимо, красноармейский трофей, по-моему, не Бог весть что, но работа явно ручная – видите, какая неровная линия закалки? так что возможны сюрпризы, сейчас посмотрим. Скупыми хирургическими движениями короткопалых рук он разъял меч на фрагменты и присвистнул: да уж, сюрпризы, хвостовик слишком заржавлен, да и форма его – видите, на рыбе брюхо похоже?.. нет, тут не сороковыми пахнет, а нет ли у вас медной монетки? Кравцов протянул ему полтинник. Кабанов осторожно поскреб ржавчину краем монеты, высвободив стертые очертания иероглифов. Я плохо читаю, твердо помню меньше тысячи знаков, сознался Кабанов. Он медленно, то и дело сверяясь со словарем, проговаривал: Мурамаса Хэйтаро для Ватанабэ Рантая из земли Каи, второй год Тэнсё¹, ну что ж, поздравляю, классический миллион по трамвайному билету, нет, вы не представляете, что к вам в руки попало. Так объясните, попросил Кравцов, а то я дурак дураком. Если не ошибаюсь, это шестнадцатый век, и учтите: клинков школы Мурамаса уцелели единицы, но я не спешил бы радоваться. Что так, спросил Кравцов. Да так, ответил Кабанов неопределенно блеклым голосом, кстати, сам Рантай, судя по всему, обновке очень недолго радовался, полоса датирована вторым годом Тэнсё, а в следующем году армия провинции Каи полегла практически полностью, – он глянул на часы: прошу прощения, мне пора на тренировку, ментов, видите ли, дрессирую на предмет рукопашного боя, а вы бы не оставили мне клинок? попробую привести его в порядок, я, конечно, не профи, но...

Слева, на бугре полоскался на горячем ветру княжий стяг Такэда – белый, с тремя красными ромбами, сросшимися в зубчатый восьмиугольник. В такт ему развевались флажки-сасимоно за спинами конников, застывших в ожидании приказа, – первый ряд в алых, будто забрызганных кровью, доспехах. Вдоль строя мерным шагом проезжал вперед-назад на вороном жеребце старый Найто Масатё, положив поперек седла нагинату². Кривое лезвие то и дело вскипало на утреннем солнце нестерпимо белым огнем, разбрасывало снопы искр, жгло глаза.

Дело складывалось так, что хуже не придумаешь. За спиной лежал непокоренный замок Нагасино, и в его стенах по-прежнему скрывался Окудайра Садамаса, озверевший от многодневной осады и движимый единственным желанием, – выйти за ворота, чтоб поквитаться за все мытарства. Ватанабэ лопатками чуял опасность, затаившуюся сзади. Спереди была опасность

¹ 1574 г.

² Древковое оружие с изогнутой боевой частью.

ничуть не меньшая. На том берегу ручья, раскесшего равнину, за решетчатым частоколом суетились стрелки в широкополых шлемах-дзингаса и грубых, сельской поковки, латах – вчерашнее мужичье из земли Овари, наспех обученное нажимать курок и орудовать шомполом. Время от времени среди них мелькал сам князь Ода³ в диковинном панцире заморской работы. Между частоколом и всадниками лежало поле, раскисшее от ночного ливня, и это было страшнее любой засады.

– Пойдем, как скотина под нож, – процедил сквозь зубы Огасавара. – Нам сейчас к лицу не красный цвет, а белый⁴.

– Покойный господин⁵ не допустил бы этой бойни, – отозвался Ватанабэ, поправляя шнуры шлема на подбородке.

Откуда-то сзади донесся незнакомый голос, приглушенный наличником:

– Обидно знать, что тебя прикончит деревенщина, которая и меч-то в руках не держала. Шел бы дождь подольше, мы бы им показали.

Найто, привстав на стременах, рявкнул:

– Эй, там! Разболтались, что твои бабы! – и после короткой паузы, склонив на грудь рогатую голову, буркнул себе под нос: – Без вас тошно...

«Еще бы не тошно, – подумал Ватанабэ, – знаю, как ночью на совете ты едва в ногах у князя не валялся, умолял отступить, не губить войско ради собственной несусветной гордыни. Еще бы не тошно...»

На бугре князь Кацүэри, тщеславный и малоумный ублюдок, махнув кожаным веером, отрывисто пролаял команду.

– Великий бодхисаттва Хатиман!⁶ – иступленно выкрикнул Найто, ударив вороного стременами в бока.

Из-под копыт полетели ошметки грязи. Лошади двинулись вперед тяжелой, неровной рысью, то и дело спотыкались, сбиваясь на шаг, но расстояние между всадниками и частоколом неумолимо сокращалось. Стали видны дымки ружейных фитилей. Стрелки выжидали. «Начнут у ручья, и меч-то вынуть не успеешь», – тоскливо решил Ватанабэ – и не ошибся. Едва кони заскользили на пологом берегу, из-за бревен раздался залп. Старик Найто попытался закрыться жеребцом, раздирая конский рот удилами, поднял вороного на дыбы, и тут же повалился наземь, выронив нагинату. Второй залп грянул почти без перерыва – видно, князь Ода успел худо-бедно пообтесать своих простолудинов. Одна пуля ударила в грудь, пробив панцирь, вторая обожгла бедро. Ватанабэ, зажимая рану, попытался удержаться в седле, но тщетно, – кобыла, перепуганная пальбой, сбросила его. Он ударился о землю, жесткие стебли травы укололи лицо. Приподнявшись, Ватанабэ увидел, как Огасавара,

³ Князь провинции Овари, соперник князей Такэда, с 1568 по 1582 г. – фактический правитель Японии.

⁴ Белые доспехи символизировали готовность умереть за безнадежное дело.

⁵ Такэда Сингэн умер от раны в 1573 г.

⁶ Синтоистское божество, покровитель воинов.

уже пеший, последним усилием вырвал клинок из ножен, сделал, будто пьяный, несколько неверных шагов вперед и упал ничком в ручей, расплескав воду. Сзади накатывал волной и рос невнятный гул атаки, – ибо воины дома Такэда не отступают. «Конец», – мелькнула мысль. – «Сейчас затопчут». Он прикрыл голову руками. Ребра хрустнули под копытом, но тут из бойниц вновь заговорили ружья, и что-то спасительное тело накрыло его сверху.

Город был придавлен громоздким монолитом неясного серо-зеленого света. Порубежье весны и лета непоправимо расплылось в слякоти. Голые ветви деревьев, ограбленных холодом и мокретью, равно соответствовали и маю, и сентябрю, и, глядя на них сквозь зеленоватую слизистую муть за окном, невозможно было понять, что на дворе, вечер или утро, весна или осень, – впрочем, редкие пласты черного, ноздреватого снега на газонах отчасти позволяли вправить суставы календаря.

Вой заводских гудков перестал рвать небо над городом полвека назад, но стрелки кварцевых будильников каждое утро разворачивались на сто восемьдесят градусов, – короткая на шести, длинная на двенадцати, – и навязчивый электронный зуммер по-прежнему начинал отсчитывать чужое время, время полумертвого ума и оскоменных, марионеточных движений. Люди наполняли собой кровеносную систему улиц, умножали собой спрессованную тесноту автобусов, где бензиновая вонь перемешивалась с духотой человеческих испарений; в конце пути каждого ждал томительный многочасовой обмен вынужденного трудолюбия на вознаграждение в виде нескольких разноцветных бумажек, – всякий раз оскорбительно невесомое и большей частью призрачное, поскольку чаще всего оно принимало облик начальственных обещаний. Ближе к вечеру стрелки повторяли свой распахнутый жест, свидетельствуя о том, что чужое время прекращает свое течение до утра, но люди, отравленные его предчувствием, были равнодушны к этой малой милости и жили забвением самих себя, надеясь скудостью умственных и мышечных движений отсрочить неизбежное завтра. Лишь самые молодые решались обделить себя покоем и продавливали постели монотонными толчками тел, по-лягушачьи расшлепанных и разделенных непрременной *gibbed & lubricated* резиновой преградой, отчего их совокупления имели неистребимый аптечный запах.

Назавтра все начиналось сызнова, чтобы повториться еще раз и еще раз. Невесть кем заведенный уклад попирает законы природы и разума, но рассудок, истощенный ежедневным исполнением чужой воли, отказывался принять эту простую, как хлебная корка, истину. Понимание должно было прийти извне, из газет, назойливо проповедавших рост двух ВВП; первый из них измерялся рублями, второй – процентами рейтинга, и оба были призваны насытить ближнего целью и смыслом. Но это, в сущности, были две ипостаси недостижимого и потому неосязаемого блага, и люди в поисках осмысленности призывали на помощь воображение и обретали себя среди плоских теней на телеэкране, в радужных блестках чужого успеха, в патоке чужих чувств, в

сперме чужих измен и говне чужих разводов – и, лишённые собственной жизни, неизбежно проживали чужую. Кто-то в отторжении себя шел еще дальше, менял имя, единственную неотъемлемую собственность человека, на вычурную болоночью кличку, а голос на птичий стук клавиатуры – и, умиротворенный, обитал в окружении зыбких фантомов, таких же, каким становился сам; *press any key to continue*. Иные, не имея своей жизни и не желая чужой, шли до последнего предела, с мужеством отчаяния истребляли в себе инстинкт самосохранения и протискивались в сумерки небытия, – но это были лучшие, и таких, как водится, были единицы.

Обморочное существование, которое отчего-то называлось жизнью, в иное время назвали бы помешательством, но те времена и нравы давно и прочно похерили, и теперь город жил именно так, и люди в нем жили именно так, и Иван Кравцов не был исключением.

День начался обыкновенно, то есть скверно, и начался он с режущего металлического света неоновых ламп и директорского окрика: Кравцов, я, по-моему, к тебе обращаюсь. Он оторвался от монитора: в чем дело? Нет, это я спрашиваю, в чем дело, сказал Вощанов, почему люди на крыльце курят, а начальнику производственного отдела по барабану, это твоя непосредственная обязанность – внушить сотрудникам, что рабочее время оплачено и является собственностью фирмы. Фраза, как и многие другие, была взята напрокат из американского пособия по менеджменту, спорить с ней было бессмысленно, и Кравцов предпочел промолчать. Во-вторых, продолжил директор, где у тебя Ахметзянова пропадает среди рабочего дня? В больнице лежит, объяснил Кравцов, у нее желтуха. Отношения с дизайнером Гулей Ахметзяновой строились на одной лишь устной договоренности, без записи в трудовой книжке, стало быть, больничным оплате не подлежал, и розовое, ветчинное лицо Вощанова осталось безучастным. Он еще раз оглядел помещение и уставился на битое оконное стекло: а это что еще такое? Батареи еще не выключали, растолковал Кравцов, очень душно, пришлось вчера окно открыть, а оно хлопнуло неудачно. По-моему, я запретил открывать окна, сказал Вощанов, мне что, видеокамеру к вам в отдел ставить? я поставлю. Так душно же. Вощанов, встав на цыпочки, поднес бумажку к вентиляционной решетке: вытяжка нормально работает, вам, может быть, кондиционер нужен? собирайте деньги и покупайте, я не возражаю, а за стекло вычту из зарплаты, – из твоей, Кравцов, вопросы есть? тогда я пошел, проводи-ка меня, Кравцов. Они вышли в коридор, и Вощанов, понизив голос, сообщил: значит, со следующей недели будешь подавать мне два отчета – один, как обычно, о проделанной работе, второй о настроениях в отделе. Прошу прощения, не понял, сказал Кравцов. До меня доходят разные слухи, я как директор предприятия, слухами пользоваться не могу, мне не сплетни нужны, а информация – теперь понял? Понял, ответил Кравцов, но это, по-моему, некрасиво. Вощанов посмотрел на него с тем дежурным сожалением, с каким обычно смотрят на олигофренов: ты не в курсе,

что существует корпоративная этика? Эта штампованная американская аксиома также не подлежала сомнению, но Кравцов предпринял последнюю попытку: в моей должностной инструкции этого нет. Воцанов усмехнулся: нет – значит, будет, проведем приказом.

Час спустя секретарша Лена, соболезнуя щеками и ртом, принесла две бумаги: пожалуйста, Иван Сергеевич, вам под роспись. Это были два приказа, первый – об удержаниях из заработной платы, второй – об изменении должностной инструкции. Кравцов дважды добросовестно выполнил трехчленный канцелярский ритуал: «ознакомлен» – дата – подпись; «ознакомлен» – дата – подпись.

Жена, подобрав под себя ноги, каменной бабой утвердилась на тахте; в телевизоре на прекрасную няню рушились штабеля заготовленного впрок смеха, и прятаться от этой ежевечерней напасти в однокомнатной квартире было некуда. Спасением стал телефонный звонок Кабанова: где и когда мы можем повидаться? Если не возражаете, я бы опять к вам в гости напросился, ответил Кравцов, радуясь возможной отлучке. Да, пожалуйста, я сегодня как раз свободен.

На столе был зеленый чай, и на столе был меч; лезвие, избавленное от ржавых пятен, тускло блестело. Здорово, сказал Кравцов, совсем другой вид. Кабанов покачал головой: фигня, паллиатив, настоящая реставрация возможна только в Японии, скажите-ка лучше, что вы с ним намерены делать. Не знаю, сказал Кравцов. Давайте я вам кое-что расскажу, чтобы вы определились, я буду говорить банальные вещи, уж простите. Кабанов заговорил назидательным лекционным голосом, и видно было, что он обдумал свои слова заранее и тщательно: у оружия есть свой нрав, японцы делают клинки на два типа, это сацудзин-кэн, меч жизни, и сацудзин-кэн, меч-убийца, самые известные сацудзин-кэн ковал в четырнадцатом веке Мурамаса Сандзо, человек вздорный и мрачный, за работой молился о помощи не богам, а смерти, и изделия его были точно таковы. Князя Токугава боялись его мечей, как черт ладана: четверо в семье были убиты или ранены мечами Мурамаса, и потому Токугава уничтожали клинки этой школы при всякой возможности. О Мурамаса Хэйтаро, который делал ваш клинок, ничего не известно. Кстати, это говорит в пользу подлинности: какой дурак станет подделывать подпись неизвестного мастера. Так вот, о Хэйтаро: может, он потомок, а может, однофамилец. Допустим, это какой-нибудь правнук, – мастерства особого не унаследовал, а вот характер – вполне мог. Старшего Мурамаса сейчас считают шизофреником, и если это в самом деле его гены, то ваш вакидзаси опасен. Поймите Христа ради: человек свободы не любит, вечно ищет, кому бы подчиниться – другому человеку, деньгам, вещам, водке, оружию... Вы же окажетесь совершенно беззащитны перед ним, вам нечего ему противопоставить, да и вообще я не сторонник оружия в доме, закон Чехова, – если в первом акте ружье висит на стене, то в пятом непременно выстрелит. Кравцов кивнул в угол, где на черной

лакированной подставке стоял длинный меч: а это как же? Испанский муляж, объяснил Кабанов, тренировочный вариант – тупой, как сибирский валенок, ну так что же, я вас в чем-нибудь убедил? Не знаю, надо подумать, ответил Кравцов, ожидая неизбежного в таких случаях предложения продать за бесценок, но Кабанов вместо этого сказал: ему вообще в этой стране не место, это же раритет, верните его японцам. Надо подумать, повторил Кравцов. Пока думаете, уберите его с глаз долой, посоветовал Кабанов, лучше всего в разобранном виде, полосу заверните во что-нибудь мягкое, типа фланели, чтоб окончательно полировку не портить – и пожалуйста, ради Бога, не пытайтесь им ничего рубить. Не буду, пообещал Кравцов и попросил напоследок: вы напишите мне на бумажке, как он называется, а то все время забываю.

Боль все еще донимала, но сделалась тупой, привычной, как назойливый писк комара. Однако вдруг она выросла, стала режущей и невыносимой. Ватанабэ со стоном открыл глаза. Над ним склонились двое. Один, тощий и темнлицый, с четками на шее, внимательно изучал его. Второй, круглоголовый крепьши с бородавкой возле носа, рвал с груди засохшее тряпье, приговаривая:

– Э-э, лекаря сильно худой люди... Она сильно любит всем-всем делать больно. Твоя не знал, да? Зато потом хорошо, совсем хорошо... Пуля шел насквозь, рана получился хороший, да, – пуля нет, гной тоже нет. Моя думает, легкий задет сверху, немного. Будем кашлять, да. Совсем мало. Станем пить травка, совсем как чай, он добрый травка. На нога совсем... как это? – царапина. Два ребры греснул, да, но чуть-чуть. А сейчас будем чуть-чуть жечь⁷. Твоя ложись на брюхо, да? Сама не умеешь? Давай помогу. О-о, какая шрам! Копье?
– Нет, гэжкэн⁸.

– *Моя брат тоже воин, большая воин. А моя не умеи воевать, моя умеи лечить...*

Ватанабэ вздрогнул, почувствовав ожог возле позвоночника.

– Э-э, моя же сказала: лекаря любит делать больно...

Незнакомцы заговорили по-китайски. Ватанабэ попытался вслушаться в их речь, но не сумел разобрать ничего, кроме «ниш»⁹ и «чжсегэ-чжсегэ»¹⁰. Крепьши наложил чистую повязку и ушел, поклонившись. Ватанабэ не без труда перевернулся на спину.

– *Как чувствуешь себя?* – спросил темнлицый.

– Где я? – ответил Ватанабэ вопросом на вопрос.

– *В монастыре. Ты прополз половину ри¹¹, помнишь? Дальше тебя уже несли.*

– *Этот... он китаец?*

⁷ В традиционной японской медицине вместо иглоукальвания применяется прижигание.

⁸ Древковое оружие с боевой частью в виде полумесяца.

⁹ Ты (кит.).

¹⁰ Так сказать (кит.).

¹¹ Мера длины, равная 3,9 км.

– *Кореец, его мирское имя Пак. Плохой монах, – слишком любит выпить. Но хороший врач. Думаю, он поставит тебя на ноги.*

– *Не надо, – Ватанабэ попытался приподняться. – Дайте мне умереть. На мне срам поражения.*

– *Покажи мне этот срам, чтоб я мог взглянуть на него.*

– *Прошу вас, не смейтесь надо мной. Наш господин предал нас, и я не могу жить.*

– *Увы, ты глуп, – темнолицый поскреб бритый затылок. – Твой господин далеко, в своей вотчине. А ты зачем-то волочешь его сюда. Он тебе так необходим? Раз уж к слову пришлось: толкуют, уж он-то не спешил умирать. Напротив, бежал с поля так, что потерял княжью реликвию – шлем Сувахоссе. Рассуди, стоит ли он твоей смерти.*

– *Прошу, верните мне оружие. Я должен покончить с собой, – голос Ватанабэ сорвался, по щекам потекли предательские слезы. – Простите, я очень слаб.*

– *Что ж, тем лучше. Новорожденный неможен, и чем крепче он становится, – тем ближе к смерти. Будем считать, что ты родился заново. А мечей твоих мы не нашли, видимо ты потерял их где-то. Кстати, меня зовут Мокурай, а тебя?*

Кравцов заполнял табель, против фамилии Ахметзяновой вытягивалась сороконожка букв «б». Позвонила секретарша Лена: Иван Сергеич, вас директор вызывает. Самому-то запахло номер набрать, невесело подумал Кравцов, догадываясь, о чем пойдет речь.

В предбаннике, кроме Лены, сидела незнакомая особа с лицом, состоящим из пухлых, плотоядных губ, тщательно обведенных малиновым карандашом; Кравцов тоже сел, соблюдая очередь, но Лена показала ему на директорскую дверь: проходите, Иван Сергеич. Вощанов, демонстрируя энергичную занятость, не отрывал взгляда от бумаг: ну что, где баннер для «Промстройинвеста»? Вы же в курсе, что мы без дизайнеров остались, ответил Кравцов, Ахметзянова болеет, Петренко на сессию уехал. Директор, перелистывая бумаги, возразил: а это чья головная боль? сказано было – искать замену, почему не искал? Искал, сказал Кравцов, да кто пойдет на временную работу, и добавил: еще за такие-то деньги. Я ж тебе сказал: это твоя головная боль, не будет на этой неделе баннера – с тебя спросим, теперь дальше: почему в пятницу сдал один отчет вместо двух? с приказом ты ознакомлен, так что я слушаю. Мне эта затея не нравится, сказал Кравцов. Вощанов оторвал взгляд от бумаг: та-ак, работать мы не хотим, на фирму нам наплевать. Как аукнется, так и откликнется, сказал Кравцов, фирме тоже на меня наплевать, зарплата раз в три месяца. Пиши по собственному, ласково предложил Вощанов, человек на твое место есть, ты ее только что в приемной видел, работать, в отличие от тебя, будет. Смотря каким местом, подумал Кравцов, а вслух сказал: ничего я писать не стану, увольняйте по сокращению, со всеми выплатами. Нештатная ситуация упрямо не лезла в шаблон американского ликбеза, и Вощанов волей-неволей перешел на родную речь: ты чё,

щегол, нюх потерял? забыл, бля, с кем говоришь? Это ты забыл, с кем говоришь, ответил Кравцов с непонятной самому себе радостью, расчет зарплаты на неоформленных работников позавчера подписывал? во-от, копии у меня дома лежат, черный нал налицо, мне до ОБЭПа десять минут ходьбы, а у тебя выборы на носу, залупу тебе, а не мандат с такой репутацией. Окорок директорского лица побагровел, Воцанов помолчал, прилежно соображая, и поднял телефонную трубку: ты в банке сегодня была? выдашь Кравцову зарплату за март и за апрель и выходное пособие за три месяца, а эти подождут! дольше ждали! десять раз объяснять?! – он швырнул трубку и рывком ослабил галстук: а ты сдавай дела и проваливай на хуй. Кравцов вспомнил надутые резиновые губы в предбаннике: если твоя соска что-то, кроме минета, умеет, сама без проблем за день разберется. Следом за ним к дверям кабинета пополз злобный, полузадушенный шепот: копии чтоб сегодня же у меня были. По почте пришло, мирно пообещал Кравцов, ну получишь днем позже, невелика разница.

С верхней площадки доносился тонкий и надсадный кошачий плач. Кравцов поднялся этажом выше: возле мусоропровода самозабвенно тосковал черный, чуть больше ладони, котенок. Пойдем ко мне, предложил Кравцов, присев на корточки, у меня молоко есть, а ты пацан или девка? ну девка, так девка. От молока кошка отказалась, мытьем осталась недовольна и несколько раз пыталась выбраться из ванны, цепляясь за скользкие эмалевые края растопыренными лапами. Кравцов вытер ее полотенцем, и теперь она, мокрая и взъерошенная, прихорашивалась на полированном журнальном столе, напоминая вздыбленный ирокез на бритой башке панка. В замке кратко проскрежетал ключ: вернулась жена и тут же уперлась недовольным взглядом в кошку. Это еще что такое? В подъезде подобрал, объяснил Кравцов, пропадет ведь. У тебя что, прикол такой – всякую дрянь подбирать? давай и я начну, куда потом побежим, а ты что вообще так рано? Я с работы уволился, сказал Кравцов. Жена опустила на край тахты: это шутка такая? Какая шутка, говорю же, – уволился. Жена помолчала, собирая воедино разрозненные попреки, и мгновение спустя на Кравцова обрушился камнепад визгливых проклятий: у тебя крыша поехала, мудака, и так живем от получки до получки, шмотку купить не на что, ты что завтра жрать думаешь, хуеплет сраный? Кошка, перепуганная надорванным речитативом, шарахнулась под стол. Я вообще-то пособие получил за три месяца, сказал Кравцов. Да пошел ты в жопу со своим пособием, ни украсть, ни покараулить, пиздюк ебаный, мне двадцать семь лет, я из-за тебя ребенка родить не могу, с голоду подохнет, ты мне кошку вместо ребенка приволок, – кошку, блядь! Жена сорвалась с места и, не прекращая причитать, кинулась к шифоньеру: пиздец, хватит с меня, я жить хочу, ты меня достал на хер. Ты куда собралась, спросил Кравцов. А тебя, козла, не ебет, ответила жена, приминая в сумке непокорный ворох тряпья. Как знаешь, сказал Кравцов.

Дверь хлопнула, Кравцов и кошка остались вдвоем в притихшей квартире. Он снял телефонную трубку: здравствуйте, Андрей, а подскажите какое-нибудь

японское женское имя, чтоб для кошки подошло. Н-ну, скажем... Мурасаки, ответил Кабанов. Нет, не нравится, больно уж на Мурку похоже. Мурка, Маруся Климова, рассмеялся в трубку Кабанов, а если Миёси? Уже лучше, большое спасибо, сказал Кравцов.

Он вынул из кармана бумажник, набитый пятисотками, и зачем-то пересчитал купюры: их было сорок, итого двадцать тысяч. На жизнь должно хватить. На очень недолгую жизнь.

Ватанабэ склонился над чистым листом бумаги, начертил кистью несколько знаков, но тут же вымарал.

– Ты пишешь письмо? – раздался сзади голос Мокурая.

– Я хотел бы сложить стихи.

– Прощальные? Все еще хочешь выпустить себе кишки?

– Нет. Стихи о павших при Нагасино.

Мокурай одобрительно хмыкнул:

– Я был худшего мнения о нынешних самураях. Думал, если они в чем и смыслят, то лишь в «Бинишу»¹², и нет среди них второго Таданори¹³.

– Наш покойный господин поощрял книжные занятия. Ученость для человека, говорил он, что листья и ветви для дерева.

– Так что же твои стихи?

– Ничего не выходит. Жаль, но я не Таданори.

– И в чем же помеха?

– Мне не написать лучше Сайгё¹⁴:

Сердце в себе умертвил.

Подружилась рука с «ледяным клинком».

Или он – единственный свет?

Озаряет поле сраженья

Месяц – туго натянутый лук¹⁵.

Как ты поступал со своими врагами? – спросил Мокурай после недолгого молчания.

Убивал, иначе они убили бы меня, – пожал плечами Ватанабэ. – И что же?

– Так убей Сайгё, раз он тебе мешает, но прежде убей Ватанабэ Рантая, – пока они вдвоем не прикончили тебя.

– Простите, я не понимаю.

– Не думай, что я сам себя понимаю, – усмехнулся Мокурай.

¹² Свод китайских трактатов по военной науке.

¹³ Правитель земли Сацума, военачальник и поэт, погиб в 1184 г. в битве при Ита-но-Тани; популярный герой средневековых военных эпосов и театра Но.

¹⁴ Поэт XII в., один из создателей стиля «югэн».

¹⁵ Перевод В. Марковой.

Кравцова обступили странные, пустынные дни и ночи, наполненные бессонницей, хотя соседский приемник, начиненный разнокалиберной попсой, вежливо умолкал еще до полуночи. Вечерами Кравцов подолгу и трудно соскальзывал в дремоту, тихо и счастливо теряя самого себя, но непрочное, паутинное полузабытье в одночасье рвалось, и он распахивал глаза, наткнувшись всем телом на внезапную преграду, непонятную и неподатливую. Он мучительно пытался зарыться в сон, но вместо этого зарывался в противную мякоть подушки, нагретой с обеих сторон, и в конце концов оставлял истерзанную постель. Подчиняясь чему-то безотчетному, но беспрекословному внутри себя, он клал на колени клинок и надолго застывал, пристально вглядываясь в подступившую тьму. Он совладал-таки со звуками чужой речи и невесть зачем шептал: вакидзаси, и немного погодя повторял: да, вакидзаси, и это древнее слово тревожно холодило рот.

Меч, что лежал на его коленях, был поверенным мертвых, тусклый глянец лезвия хранил их яростную память: небо, расчерченное стрелами и небо, расчерченное дымными ракетами, хрипы побежденных и крики победителей, мрак, распоротый языками взбешенного пламени, неистовый стук копыт и неистовый стук пулеметных очередей. Настоящее в эти часы умирало, однако отзвуки и отблески прошлого жили свирепо и взახлеб и принуждали жить – обременяли душу невнятным, безысходным знанием, корежили тело, заставляя мышцы каменеть в напряженном ожидании неведомого, но наступало утро, и сон, снизойдя до подачки, укрывал Кравцова тонкой, полупрозрачной кисеей, сквозь которую сочился ручей чахлого серо-зеленого света. Вместе с ним в путаницу видений просачивались голоса улицы, где по-прежнему тяжело перекаtywалась река чужого времени.

В один из вечеров воды ее расступились, выпустив на берег Маринку, она была влажная и липкая, приторно-сладкая, как перезрелый персик в лопнувшей кожице. Она пришла в настойчивом нетерпении, спеша поручить влагу своего тела и сладость своих губ рукам и губам Кравцова, уверенная в черной магии грешной женственности, готовая обманывать и обманываться, лишь бы докрасна раскалить пепельно-серую мглу городских сумерек. Но разрозненные тела так и не обрели друг друга, ибо между ними лежала непобедимая, до черноты выжженная пустошь ожесточенного отчуждения. Рядом с мертвой памятью все оказалось напрасным, – и жаркий, срывающийся шепот, и медленная, шелковистая ласка пальцев, и мокрый трепет жадного языка. Маринка, полагаясь на змеиное могущество бабьей волшбы, измучила его и себя неутоляющими, бесплодными прикосновениями, однако ночь, единственная союзница ведьм, отступила, рассвет означал поражение, и она ушла, потерянная и притихшая, безропотно и бесследно растворившись в зеленоватой мути нового дня.

Следом от Кравцова ушла Миёси. Она оказалась нелюдимою, упрямо не отзывалась на кличку, старательно хоронила от человека свою малую жизнь в

дальнем углу и оттуда провожала хозяина настороженным желтым взглядом, но в один из дней вдруг выгнула спину, бросилась к двери, заскребла когтями металл и заплакала навзрыд и безутешно, как давеча в подъезде. Он открыл дверь: иди, раз уж хочется. Кошка опрометью, суетливо метнулась в проем, чтобы больше никогда не возвращаться.

Кравцов, изъятый из обращения, отлученный от чужого времени, мало тяготился сиротским существованием и не выходил из дому без крайней необходимости. Нескончаемый трехсотметровый путь до ближнего магазина и суголока стали ему невыносимы, и он всякий раз спешил вернуться к себе, все больше замыкаясь в брезгливом презрении к человеческой возне за наглухо зашторенными окнами. Он спускался на улицу, когда на западе переставала кровоточить рваная рана заката, и ночь опустошала мостовые, и томительное биение выморочной жизни замедлялось до брадикардии.

Дышалось на улице тяжело, будто сквозь мокрую тряпку. От сырости, фабричной и бензиновой гари неоновый свет сгустился, сделался непроницаемо плотным и слоистым. В какой-то момент Кравцову показалось, что если фонари погаснут, дышать станет легче. Уходя от серого уличного марева, он сворачивал в темные дворы, где пахло мокрым асфальтом и прелыми прошлогодними листьями, а фонари рассеивали приглушенные лучи слабого чайного цвета. Кравцов ступил в желтый круг фонаря, и навстречу ему из мрака соткались двое, дохнули перегаром: дай закурить, мужик. Извините, не курю, ответил он. Двое глумливо захихикали: сыт, бля, значит уважает... Главное было не допустить себя до первого страха, который и определяет исход; Кравцов прислушался к себе, но страха не было, было лишь ленивое, неспешное любопытство, – как далеко способны они зайти в поисках чужого унижения. Я не испугался, сказал Кравцов, что дальше? Один шагнул к нему, занося широко расставленную пятерню: щас увидишь, пидор мокрожопый. Над Кравцовым нависло бугристое лицо, разорванное смрадным оскалом. Тягучее мгновение расплескалось до размеров вечности. Кравцов одной рукой перехватил в воздухе большой палец, выламывая его из кисти, другой рванул из-под куртки вакидзаси. Нападавший, следуя направлению боли, стал заваливаться назад, зашарил свободной рукой в воздухе, пытаясь нащупать опору. Меч обрел жуткую бумажную легкость, продолжил собою предплечье, всецело покорный ладони, крепко обнявшей рукоять. Коротким и точным движением Кравцов послал клинок в основание шеи. Нападавший сложился пополам, будто картонная коробка, недоуменно выплюнул длинную черную слюну и грузно, мешком лег под ноги Кравцова, часто и сипло задышал дырой в горле, загреб руками по асфальту, пытаясь удержать возле себя иссякшую жизнь. Разлитое мгновение миновало. Второй отступил в спасительную тьму, слился с ней и стал незаметен.

У себя в подъезде Кравцов снял кроссовки и бросил их в зловонную пасть мусоропровода. Дома, в ванной он сунул клинок под струю воды, и та

порозовела. Это розовая вода, пробормотал Кравцов с усмешкой, просто розовая вода. Мельком глянув на себя в зеркале, он отпрянул: вместо лица оттуда смотрел гладкий, безглазый шар, бледный, как картофельные ростки. Кравцов почувствовал себя наглухо укутанным в войлочную усталость; она позволила принять увиденное без боязни, как должное. Шатаясь, и стены комнаты шатались вместе с ним, он дотащил самого себя до постели и провалился в кромешное безмолвие.

Кравцов пробудился лишь к вечеру, подумал, не включить ли телевизор, но что могла сказать с экрана заводная кукла? казенная, слово в слово заимствованная из милицейской сводки скороговорка диктора была знакома до оскомины: на-улице-Дзержинского обнаружен-труп-неизвестного-мужчины с-признаками-насильственной-смерти по-факту-возбуждено-уголовное-дело личность-погибшего-устанавливается граждан-что-либо-знающих-о-происшествии просят-позвонить... Без приглашения вернулось вчерашнее: низкие выпуклые надбровья и темные вдавленные глазницы над оскаленным ртом, – мир повернулся к нему лицом, прислал гонцами тех двоих; значит, его не оставили в покое, и нет у него иного оружия, кроме беспощадной, пламенной правды мертвых.

Под ногами чуть слышно похрустывали сосновые шишки. Густой, горький запах хвои, разогретой солнцем, кружил голову. Ватанабэ, подобрав с земли длинный сук в потеках застывшей смолы, осмотрелся, выбрал себе в противники чешуйчатый обломок сухого ствола чуть ниже человеческого роста и явственно увидел напротив себя темно-коричневую шнуровку чужих доспехов, рогатый шлем, обтянутый косматой медвежьей шкурой, и широкий, старинной выделки меч с гравированным, прихотливо изогнувшимся драконом на лезвии.

Враг резко встряхнул плечами, чтоб сошлись пластины панциря, рога на шлеме угрожающе качнулись, наплечники тяжело лягнули. Ватанабэ, не отрывая взгляда от кончика своего клинка, попытался приблизиться, надеясь подцепить острием нагрудную пластину, но наткнулся на гудящий веер из непрерывных взмахов стали. Ватанабэ направил разящее движение в горло над латным ожерельем, но железо звякнуло о железо, – враг отбил выпад, и Ватанабэ кожей почувствовал его презрительную ухмылку, упрятанную под наличник. Отступив на шаг, Ватанабэ попытался рассечь незащищенное запястье, и это почти удалось, но за спиной послышался сдавленный смешок Мокурая:

– Забавно, знаешь ли, смотреть на тебя.

– Ну да, дурак размахивает палкой.

– Вовсе не потому. То, что ты пытаешься делать, – это искусство, но не Путь. Суэта, не более того. Если хочешь, попробуй достать меня своей дубиной.

Мокурай встал напротив, безвольно уронив руки вдоль тела. Ватанабэ выпрямил спину, опустил локти и плечи, держа сук почти наперевес. Вдоль позвоночника

вдруг пробежал зябкий холодок дрожи. Страх рос где-то внутри, становился все нестерпимее, захватывал все естество и разрастался до необоримой жути.

Колени задрожали, и Ватанабэ, в ледяном поту, выронил палку и повалился ниц, распластав по земле руки и ноги, словно гигантская лягушка.

– *Что это было?* – спросил он, отдышавшись.

– *Отравленный взгляд, – Мокурай сел рядом. – Я лет шесть провел в Сёриндзи¹⁶, там этому неплохо учат.*

Ватанабэ вытер со лба испарину:

– *Когда кончается искусство, и начинается Путь?*

– *Когда ты поймешь, что меч в твоей руке – не меч, и враг перед тобой – не враг.*

– *Что же это, если не меч и не враг? Скажите, прошу вас.*

– *Сказать? Но речь – клевета.*

– *А где же правда?*

– *По ту сторону речи и молчания. Узнаешь, если доберешься туда, – Мокурай сделал паузу. – Пак говорит, что ты совсем здоров. По моему разумению, ты выздоравливаешь: перестал утверждать и начал спрашивать. Так что можешь уйти, если хочешь.*

Внезапно заглянул Кабанов, собранный и деятельный: а не одолжили бы вы мне меч дней на пять? улетаю в Москву, будет там толковище, соберутся, куды не на хрен, одни випы, все при высоких данах, – Амосов, Морев, Алексеевский, хотелось бы им показать. Как же вы с ним в самолет, спросил Кравцов. Не проблема, возьму в ментуре справку, что спортивный инвентарь, блат выше наркома. Кабанов ощупал глазами лицо Кравцова: простите, вы не больны? вид какой-то нездоровый, не надо ли чего? Спасибо, я в порядке, не беспокойтесь. А как с клинком сосуществуете? В атмосфере взаимопонимания, ответил Кравцов, не погрешив против истины.

Ветер принес с другого края неба мелкие дожди, нудные, как старая бормашина. Пласты черного снега на газонах истончились, истаяли, и вместе с ними, размытое дождем, таяло желание жить и двигаться. Но чужое время упорствовало в своем неизбывном желании взять реванш: пластмассовые, натужно бодрые голоса за стеной приказывали делать неслыханное, – сникерснуть, чупсоваться, пробовать джага-джага; другие, кирпичные голоса с бутафорским пафосом выговаривали квадратные слова о долге и памяти, слова величественные и бесполезные, как сотенная купюра царских времен; еще одни, бархатные вкрадчиво звали поклониться чужому мясу, зачем-то приколоченному к доскам, а после нарисованному на других досках; еще одни, металлические, драпированные лоскутьями разноцветных знамен, кроили толпу на своих и чужих.

¹⁶ Японское произношение китайского слова «Шаолиньсы».

Люди, заменив ненужную и опасную волю уютным тряпичным повиновением, не спрашивали себя, нужно ли им это, не противились услышанному, – изо дня в день, согласно подсказке, калечили свои мысли, до неузнаваемости уродовали речь, искажали лица, коверкали позы и жесты, чтоб, отбыв эту повинность, вялыми, анемичными ошметками повиснуть на злобных шестернях чужого времени. Выбирать было не из чего, поскольку мир не и предлагал ничего другого, кроме неторопливой, по графику расчисленной агонии, которая считалась жизнью лишь в силу скудоумия и тщеславия гибнущих.

Кравцов отгородился от законной суеты расслабленной дремотой, благо, сон заключил с ним перемирие. Теперь он подолгу залеживался в постели, то и дело ныряя в туманный обморок, к полудню, собравшись с духом, поднимался, чтобы проделать безбожно длинный путь до ванной и смыть остатки сна, – но ненадолго, ибо полчаса спустя он вновь заставлял себя, зевающего, в обнимку с подушкой. Точно таким же его застала жена. Открыв дверь своим ключом, она совершала дефиле по восемнадцати квадратам неприбранной жилплощади, демонстрируя и обручальное кольцо, перемещенное на левую руку, и новый брючный костюм, гордая тем, что сумела навязать себя миру, нашла-таки придурка, согласного втридорога платить за глазунью, подгоревшую во имя прекрасной няни, и парализованный секс. Пихнув в сумку вещи, бывшие формальным поводом для визита, она прошипела, не разжимая рта: все валяешься? ну-ну... А тебя не ебет, ответил Кравцов ее же словами, будешь уходить, – ключ в прихожей оставь.

Вскоре после жены объявился Кабанов: ну, Иван, вот вам ария московского гостя – я привез предложение, от которого невозможно отказаться, хотя давайте-ка по порядку. Генералы наши мою версию подтвердили, клинок действительно шестнадцатого века. Костя Амосов, правда, его облажал – мол, в таком состоянии годится только капусту на даче рубить. Зато потом взял меня ласково за штаны, увел подальше и просил вам передать, что всегда готов его купить за двадцать штук баксов, это неплохие деньги, так что подумайте. Да и клинок будет в хороших руках, Амосов специалист известный, в прошлом году в Питере издали его книжку об эволюции японского меча. Нет, ответил Кравцов. Кабанов хмыкнул: вам цена не нравится? конечно, пару лет назад вакидзаси восемнадцатого века ушел с аукциона за двадцать пять, но там, уж простите, состояние было не в пример лучше, а ваш требует затрат. Какой процент, спросил Крацов. О чем речь, не понял Кабанов. Я спрашиваю, какой ваш процент от сделки. Кабанов поморщился: да прекратите вы, ей-Богу, у нас с Амосовым абсолютно не те отношения, ну так что же в результате? Да не могу я, развел руками Кравцов, не могу, мы с ним как-то сдружились, что ли, это на предательство будет похоже, мне кажется, вы меня понимаете. Понимаю, кивнул Кабанов, но, по-моему, было бы лучше... он испытал взглядом лицо Кравцова: кстати, вы в последнее время часом ни в какой блудняк не влетали? скажем, в драку или еще куда. Господи, какие там драки, ответил Кравцов, сплю

круглые сутки, кстати, о драках, – все хочу спросить, на кой оно вам сдалось, ментов тренировать, ведь не из-за денег же? Нет, рубли там недлинные, подтвердил Кабанов, просто не выношу дебильных костоломов, пусть у них хоть что-нибудь в голове остается.

Поначалу ночь была застегнута на оловянную пуговицу луны, но набрякшее дождевое небо похоронило тусклый кругляшок в своей разбухшей утробе и теперь норовило стечь на крыши. Темнота сделала дома и деревья плоскими, упростив их до черных двухмерных силуэтов. Кравцов миновал сквер, заросший чахлыми, царапающими акациями, и свернул в незнакомый двор.

Из-за угла доносились робкие, задавленные всхлипы: ой, не надо, ой, пожалуйста, я сама, ой... Кравцов шагнул на звук. Чайный свет фонаря запутался в ветвях голых тополей, и на стене колыхались их длинные траурные тени. Первоначальные предположения не оправдались: девчонка, притиснутая к дверям подъезда каменным мужским торсом, защищала ладонями не лобок, а лицо. Ты что творишь, урод, сказал Кравцов без всякого выражения, тронув пальцами тугую оплетку рукояти. Он стоял вполоборота, опираясь на выдвинутую вперед правую ногу, опустив клинок вдоль бедра. Вакидзаси, готовый следовать любому движению, утратил вес и обрел жестокую, выверенную и справедливую точность. Мгновение вновь разлилось, выплеснулось из всех мыслимых границ. Мужик шагнул навстречу, впереди него летела длинная, до бритвенной остроты заточенная стамеска. Кравцов резко, всем телом повернулся влево, выбросив вверх руку с мечом; стамеска, ужалив пустоту, тупо стукнулась о бетонный бордюр, мужик схватился за горло, бодая воздух, шатнулся прочь, но запутался в собственных ногах и вытянулся во весь рост на асфальте, расколов собою черное зеркало лужи.

Девчонка, еще сильнее прилепившись к дверям, опять заскулила, но уже без слов, только голосом. Размазанная косметика уподобила ее лицо трагической маске белого клоуна. В одном ухе качалась круглая цыганская серьга, мочка второго была разорвана, мелкие кровяные кляксы пятнали светлую куртку. Кравцов, наклонившись к покойнику, разжал его левый кулак и добыл оттуда теплые кусочки металла – кольцо в острых завитушках, серьгу и безнадежно перепутанную цепочку с крестом: твое? на, забирай. Девчонка смотрела на него безумными, вывихнутыми глазами, и Кравцов понял, что она видит все тот же незрячий, матово-бледный шар. Кравцов сунул побрякушки ей в карман: ментов не вызывай, не надо. Девчонка согласно замотала головой, распространяя кислый запах пива.

Закапал, набирая силу, дождь. Что ж, оно к лучшему.

Кореец Пак, стоя на пороге, приложил палец к губам, и это далось ему не без труда: под мышкой он зажал большой жбан, а в руке держал вместительную деревянную плошку.

– Тихо, пожалуйста. А то моя скоро уходить, а мы ни разу вместе не выпил, худо.

– Откуда у тебя это? – спросил Ватанабэ.

– Водка просил в деревне, редька украл на кухне. Японский еда худой, совсем пресный. А самый-самый худой еда, – кореец хитро улыбнулся, – это спасительная камень¹⁷. Ничего, моя скоро кушать другой еда, вкусный. Моя идти к морю, потом плыть на юг... как это? – в Сямуро¹⁸.

– Я, наверно, тоже уйду, – сказал Ватанабэ, глотнув из жбана.

– Твоя пошел снова убивать?

– Не знаю. Сейчас трудно не убивать. Вся Япония только этим и занята.

– Мокурай не убивать. Он писать книга про заморский вера, про... как это? – про Кирусито¹⁹, – Пак приложился к жбану и захрустел маринованой редькой. – Моя тоже не убивать. Моя вернется домой и тоже будет писать книга, как разный народы лечат свой люди. Моя учился в Китае, потом тут, дальше будет в Сямуро. Люди не надо убивать, он и так коротко живет, – совсем коротко, потому и помирает глупый. Не успеваешь понимать жизнь. Люди надо лечить, чтобы он жил долго и не был глупый. Моя отец помирал рано, совсем рано, моя уже старше его на целый два годы, а все дурак. Твоя тоже дурак, как моя брат, ничего не видал, один война в голове.

– Возможно, ты прав, – ответил Ватанабэ, удивляясь собственному равнодушному смирению.

Массивное тело Кабанова изготовилось для мгновенного броска, лицо заострено в судорожной сосредоточенности: Иван, у меня к вам серьезный разговор, более чем серьезный, – ведь на вас два трупа, так? Это еще надо доказать, усмехнулся Кравцов. Не проблема, отмахнулся Кабанов, во-первых, я геометрию вашего клинка знаю, как свои пять пальцев, в обоих случаях одна и та же ромбовидная колото-резаная рана, мужики из убойного мне фотки показывали, любой эксперт идентифицирует с завязанными глазами, во-вторых, первый труп был шестнадцатого числа, восемнадцатого я забрал у вас меч и вернул двадцать пятого, а двадцать восьмого был второй. И потом, локализация характерная: оба убиты одинаково, ударом в горло, это тодомэ, чисто японский прием, ведь не человек убивает, а меч... да что ж вы молчите? Что о них толковать, пожал плечами Кравцов, оба еще при жизни умерли. Пожалуй, кивнул Кабанов с видимым облегчением, второго вашего клиента, между прочим, опознали по фотороботу, гопник, с баб золото снимал, а первый кто? Понятия не имею, – так, рванина, отморозок. В любом случае не нам с вами их судить, я же говорил, что ваш вакидзаси опасен, мне бы, кретину, еще тогда его у вас отобрать... примите добрый совет, менты пока не в курсе, так что идите с

¹⁷ Нагретый камень, который дзэнские монахи клали на живот вместо ужина.

¹⁸ Японское название Таиланда.

¹⁹ Японское произношение слова «Христос».

повинной, – как-никак, смягчающее обстоятельство, шестьдесят первая статья УК. За мной нет никакой вины, сказал Кравцов, мне не в чем каяться. Кабанов потер лоб рукой: дело ваше, Иван, но тогда я вынужден буду сообщить... вы понимаете? зачем вам вся эта ментовская хрень – силовое задержание, побои, обыск? Невесть откуда пришел ответ: чем больше грязи, тем выше Будда. Кабанов покачал головой – то ли удивленно, то ли укоризненно: прощайте, Иван. В дверях он остановился: кажется, у вас кошка была – Миёси, да? давайте я ее заберу. Бросила меня кошка, сокрушенно сознался Кравцов, не сошлись характерами. Ну что ж, прощайте, невесело повторил Кабанов.

С его уходом Кравцов понял: есть полчаса, от силы час, чтобы избежать тюремной вони немых тел, презрительных окриков охраны и тупых, никчемных вопросов следователя. Мысль о них заставила сердце лихорадочно зачистить, наполнила и полонила тело темным и тоскливым ужасом; нет, этого надо было избежать. Как угодно.

Он через голову стащил футболку и, опустившись на колени, обернул ею лезвие, тем самым укоротив его до нужной длины. Память мертвых и воля мертвых делали движения точными и размеренными. Плоть подалась, впустила хищный металлический холод, под напором железа внутри что-то рвалось с мерзким крахмальным хрустом. Кравцов, не в силах совладать с раздирающей болью, отбросил вакидзаси и, наклонившись вперед, перенес вес тела на руки, чтобы расслабить брюшные мышцы, движение отозвалось новой болью, и он неуклюже и нелепо, с долгим стоном перевалился на бок. Он бережно потревожил рану кончиками пальцев: крови почти не было, но в разрушенном теле что-то мучительно и тяжело плескалось, звук толчками тек изнутри вместе со слабыми темно-вишневыми струйками. А ты газетку прилепи, сказал Кравцов себе. Его медленно сковывала вязкая, холодная дурнота, он чувствовал, как, покорствуя ей, стынут руки и ноги; воздух растрескался, и его зазубренные осколки царапали гортань; рот иссушила внезапная полынная горечь, – впрочем, это была всего лишь плата за избавление, цена входного билета. По жилам беззвучно и беспрепятственно лилась уже кровь, но смерть. Сердце, все еще не согласное с неизбежностью, билось гулко и часто, однако мозг опередил его, – не справляясь с тошнотворным головокружением, суматошно вытряхивал из своей копилки окаменелые пустяковины: огрызки плесневелых фраз, обрывки истрепанных сновидений. Предметы вокруг выцвели, отступили, сделались мертвы для глаза, освобождая зрение для сумрака благой и безмолвной пустоты. Вот и все, пробормотал Кравцов в пустоту, едва улавливая звуки собственного голоса, ибо тот доносился издали, из страны мутного серо-зеленого света, вот и все.

Ватанабэ сделал привал среди низкорослого, тенистого ивняка, на берегу быстрого и мелко ручья, дно которого устилала веселая пестрая галька. В прозрачной воде суетились мальки. Отложив посох, Ватанабэ черпнул воду

горстями, и рыбешки бросились врассыпную. От холода заломило зубы. Он скинул соломенные сандалии и опустил ступни в обжигающе студеные струи, но этого показалось мало. Он разделся догола, встал на колени и облился с головы до ног, избавляясь от многодневного пота и дорожной пыли. Листья ивы напоминали наконечники стрел, но эта увядшая память уже не бредила душу, не застила глаза и не мешала словам складываться в строки:

Не дошли.

Только ветер

Шевелит в траве сасимоно...